

# Внутри советской России

## „С КОТОМКОЙ“.

Вяч. Шишков.

(Окончание).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

*Гнилая челюсть и здоровые клыки.—Революция.—Стрелка времен.—«Когда будем летать, как галки...».—Шулер. Придут сильные.—Горе неудачника.— Но все ж—мужик.—Маята.—«Вперед!».*

С солнцем все повеселело. В полях копошился народ. Яровые, лен, овес, гречиха, каждая полоса по-своему украшала землю. На желто-зеленом фоне спелых хлебов темнели рощи и перелески. Раз, два, три, а вот еще хутор. Куда ни взглянь—торчит в одиночку крестьянская изба со службами. Деревни редеют. Избы, как зубы, вырываются с корнем из наболевших десен и внедряются на новые места. Нашему мужику надоело пережевывать жвачку гнилыми челюстями. Он боится, чтоб и его здоровый зуб не загнил. С корнем, вон! Он предпочитает обходиться со своим, хотя единственным, но крепким волчьим клыком, чтоб пища попадала в собственный желудок, и чтоб не вязла между зубами дрянь. А вот и другие зубы вырастают: еще хутор, еще, еще много. Простор и воля—думает мужик. И новая мужичья челюсть крепнет.

Дантист появился еще задолго до революции, но он работал тогда очень осторожно, робко, козьей ножкой. Теперь же в ручищах у зубодера железные клещи: вырывает целыми деревнями. Прошли мы одну деревнюшку—сплошной пустырь, словно провалившийся рот старухи: ямы в челюстях, где сидели избы, два колодца и три несчастных избенки по краям. Вот вам революция: тут все мертво, повержено, опрокинуто, выкорчевано с корнями: валяются гнилые бревна, черепки, доски, мусор, разбитые кирпичи, дохлая собака, расплюснутый в лепёшку кот с веревкой на шее, кучи навоза, отбросы, грязная рвань, тряпье. А где-то—вот за той рощей, и на пригорке, и у речки, строится новое—пока во имя собственной утробы, а там видно будет: паровоз истории мчит, куда надо, глаз машиниста зорок, и рука тверда.



Слышно, что и в губерниях центральной России происходит такая же ломка деревни. Не знаю, так ли это? А вот в Петербургской губернии видел лично. Деревня взорвалась, избы летят вверх и широким веером падают на новые места, где им и быть надлежит. Мужик перестал бояться разбойников, колдунов, привидений, леших, всей той нечисти, которая загоняла его в муравейник, в хлев, в деревню, и желает жить на свободе, человеком: против разбойника — топор, а чорт из болота вылезет — в плуг его, подлеца, пахать!

Ближайшие пятьдесят лет изменят лик мужичьей деревни до неузнаваемости. От многих сел останутся лишь церкви, да поповские дома, а иные села превратятся в города.

Так шли и рассуждали мы с Кузьмичем. А навстречу человек, стекольник, возвращается из соседнего совхоза. Оказывается—крестьянин, костромич. Ну, как тут не поговорить. Присели.

— У нас, в Костромской, все по-старому, на хутора не выезжают. Нам никак нельзя, потому все мужики на летние заработки уходят в Питер да в Москву. Дома одна баба. Какой же тут хутор может быть? Обстоятельства препятствуют. Вот в чем суть. Еще сотню лет не вылезти из деревни. А в бывших поместьях у нас работают коммунары из безземельной бедноты. Только у них не выходит ничего, мир не берет, такая свара—страсть! Многие бросили, на фабрики ушли. Впрочем, у нас вот какая реформа в деревне: с узкополосицы на широкую полосу перешли.

— Как так?

— То есть, передел земли. У кого, скажем, в поле было тридцать полос, соединили в пять, у кого десять, соединили в две. Так сподручней.

\* \* \*

Шагаем дальше. Все те же поля и перелески. Небо спокойное, чистое, и воздух неподвижен. Взлобки, увалы, суходолы. Солнце снижается. Тишина. Мысль уходит в прошлое, переводит стрелку времен к началу Руси.

Лязг мечей и топоров, свист стрел, бесконечные костры пожарищ, всё окутано дымом и ужасом. Новгородские ватаги десятилетие за десятилетием продвигаются к берегам Балтики. Осевшее здесь финское племя пружинит. Но славяне, как лавина с горы, ползут вперед, все подминая под свой лапоть. А навстречу седая волна: с севера—шведы, с запада—литва и немцы-меченосцы. И вот две волны—вражья и наша—схлестнулись в шипящий вал. Запылали целые селенья, запахло порохом, болота и хляби начинялись человечиною, как рубленным мясом пироги, от топота копыт гудела земля, и небо день и ночь было черно от дыма. Новгородские пятинны слали и слали людей на смену убитым. И вот русский липовый лапоть в конце концов победоносно расселся здесь, возле озер и речек. Немые курганы—эти страницы седой старины—разбросаны то здесь, то там, среди лесов и пашен. Они ждут просвещенного чтеца с искусной лопатой и широким знанием.



— Вот, представь себе,—говорит мой спутник,—что ты навсегда ушел из города к этим полям, лесам, к этим людям, и никогда в город не возвратишься. Как бы ты чувствовал себя?

— Я бы чувствовал себя повернувшимся спиной к солнцу и уходящим от солнца в мрак.

— Ты бы не мог этого сделать?

— Нет.

Спутник молчит, думает, на лице его грусть.

— Жаль,—говорит он.—Конечно, это был бы подвиг. Подвижники так редки теперь. А прежде были. Я знал учителей, учительниц, врачей, которые уходили в народ и там помирали, отдав народу всё. Теперь остались на долю мужика только наемники и люди без всяких нравственных устоев. Город грабит деревню и материально, и духовно. Все наиболее способное, талантливое стремится из деревни в город, порывая с деревней навсегда. Что же будет с нашим мужиком? В чем его спасенье от тьмы, от нищеты?

— В воздухе.

Он вопросительно взглянул на меня, по серьезному улыбаясь.

— Очень просто,—легкомысленно сказал я.—Когда люди научатся летать, как галки, весь уклад жизни перевернется вверх дном. Воздвигнутая экономической необходимостью стена меж деревней и городом окажется слишком низенькой, чтобы с ней считаться. И два враждующих, или, если хочешь, чуждых друг другу стана—примирятся, сольются вместе. Настоящий свет примчит в деревню воздухом. А стремление жить в чистоте, с глазу на глаз с природой перетасует мужиков и горожан, как колоду карт.

— Не хочешь ли ты этим сказать, что город все время об'егоривал деревню, как шулер, и карты у него были крапленые?

— Вот именно. Это самое и хочу сказать. А впоследствии игра будет в ничью. Хотя, вообще-то говоря, игра в ничью мало интересна.

Долго бы философствовали мы в чисто-русском стиле, и, конечно, залетели бы в небеса, но вот пред нами деревня Рогулька. Вспаханные полосы. Камнищи и камни покрывают пашни. Навстречу, дубом в телеге, едет старик.

— Дедушка,—говорит агроном.—Почему же вы сотни лет сидите на земле и не можете очистить ее от камней?

— А поди-ко очисти сам,—отвечает дед.—Эвот какие валуны. Сила не берет. Вот вы помоложе, возьмите, да и постарайтесь, ежели желательно.

— А как же хуторяне чистят? Там все прибрано, камни при дороге, в кучах.

— Сказано, сила не берет,—уезжая, бросает старик.

Агроном вдогонку кричит:

— Если вы бессильны, то на ваше место придут сильные люди, выгонят вас вон и очистят землю! Так и скажи мужикам.

Дед оглянулся и послал нас в самое свинячье место.



Спрашиваем в деревне тетку, как пройти в Озерки. Она объясняет и осведомляется, не торгуем ли мы сахаринном. Встречаем попутчика в веревочных лаптях. Сухой, кривоплечий, бороденка пустяковая, и покорно-испуганный взгляд—типичный неудачник. Так и есть. Надо пахать, а у него околела единственная лошадь. Идет по деревням, хочет приобрести хоть какую-нибудь клячу. Подходим к группе крестьян—ладонь на гумне чистят—готовятся к молотье.

— Не знаете ли, где коня купить?

— В нашей деревне нет. Правда, что были у Герасима, да у Чеснокова Оксена, продали недавно.

— За сколько?

— Да, кажись, за семьдесят пудов ржи Герасим-то отдал. А тебе на какую цену?

— Хлеба у меня нету,—говорит неудачник, и слезы на глазах.—А я отдал бы тулуп свой новый, да самовар, да у бабы шаль хорошая, ну, полсапожки отберу, плачет баба, а придется. Овсеца мог бы пудов десяток осенью прибавить, ежели хороший конь. Прямо разорюсь, ей-Богу разорюсь... Ах, Сивка, Сивка, как зарезала меня... Господи, Боже мой! И не подняться теперь будет. Братцы, что же это такое, жизнь-то какая чижолая...—И он засморкался в полу рваного армяка.

— Ты перебился бы пока что. У тебя поле-то вспахано?

— То-то нет.

— Может, соседи дадут попахать коня-то. Разве возможно время упустить?..

— Да нешто у нас дадут. Народ самый несогласный. Другие радуются, что несчастье у меня... Эх.

— Нету, милый, нету... А шагай-ка ты на хутор, к латышу, Карла называется; кажись, у него есть продажный конь. Так надо полагать, что есть.

Прощаемся и идем. Неудачник с нами. Он идет емко, нужда хлещет его в три бича, он и так путается целую неделю, с'ел весь запас и питается теперь подающим.

\* \* \*

Вот грохочет речка. Это через открытые щиты плотины бьет вода. Сквозь темнозеленый бордюр кустов виднеется противоположный кроваво-красный берег. Мельница, а через дорогу—дом мельника—латыша. Почти все мельники здесь—латыши или финны. «Они специальное нас», не без зависти говорят про них крестьяне. Мельник всегда у хлеба, живет зажиточно: сыт и, если б хотел, был бы ежедневно пьян. Но латыши—люди скромных правил, напиваются лишь по воскресеньям, в остальные же дни предпочитают готовить самогонку, так сказать, для экспорта.

Дом чистый, тюлевые занавески, рыжая курносая женщина выбивает ковер. В луже развалилась свинья с поросятами. У мельницы очередь подвод. Меж возами мелькает рыжая борода мельника.

Вода перед плотинной черная, ниже—в белой пене, на свободе,—вся по-



зеленела—от злости, или от радости—не знаю. В осоке полощутся утки. Селезень привстал на воде, как на паркете, захлопал крыльями, потянулся весь и закричал. Дорога по крутой горе сразу вверх. Внизу и в полуоткосах—окопы. Остатки колючей проволоки болтаются на кольях. Земля на этом месте наверное пила недавнюю русскую кровь. На крови вырастет красный цветок. Его сорвет девушка, и не будет знать, чем питались его корни. Девушка делается матерью, родит сына, Илью-богатыря. И только сын поймет и по-настоящему рассудит дела отцов. Проклянет, или благословит? Конечно же, благословит. Потому что он Илья, мужик и богатырь, хозяин.

Идем, идем, присаживаемся, отдыхаем, опять идем. В сущности, не идем, а ползем червями. Но это не раздражает. Если б я умел летать, я все-таки предпочел бы итти до изнеможенья, чтоб лучше высмотреть, ощупать руками жизнь, чем вспорхнуть и в три взмаха крыльев быть на месте. Говорю к тому, что бродить по России, и обязательно пешком, в наше время необычайно интересно и поучительно. Я первый раз иду по свободной земле, по Российской Советской Республике, первый раз встречаю свободного мужика, русского республиканца. Но республиканца я не вижу в нем, стараюсь искать, стараюсь внушить себе, что это всамделишный республиканец, но все же передо мной — мужик. Понюхаешь его справа — пахнет стариной, нюхнешь слева—наносит чем-то непонятным. В общем—современный крестьянин для меня большой знак вопроса. Мысли его все в узелках, в обрывках, как спутанные нитки, надежды его померкли, он движется своей дорогой, как пущенный с горы пень по откосу, вниз, к земле. Ему надо всё сразу, вот сейчас, как в сказке, и руки протянул: давай! История же наградит хорошей судьбой, может быть, только его потомство. *Может быть*, потому, что все надо заслужить, преодолеть. Когда он дождетя истины, что дважды два—четыре, да руками эту истину ощупает, когда жирком благополучия кроется его утроба, он скажет:

— «Вот, братцы, оказия-то... А ведь я республиканец по всем статьям! Не сон ли? Мадам—жена, Лукерья, ну-ка, ущипни».

\* \* \*

Идем сосновым бором. Пахнет смолой. Под ногами песок, и канатами протянулись корни. Навстречу попадают пешеходы с узелками: это запоздавшие тащут на пункт масло. Догоняет молодой крестьянин, Иван Зуев, знакомый агронома. Возвращается с пункта.

— Эх ты, Боже мой, замучили нас маслом-то совсем,—говорит он и спрашивает:—Ну, что, Кузьмич, как слыхать про власть? Укрепилась, что ли?

— Конечно, укрепилась.

Иван Зуев молча идет, упорно смотрит в землю. Потом крикает, бросает под нос ругань и говорит:

— Что ж, значит надо начинать работать по-настоящему, в сурьез? Как следует?



— Давно пора.

Он молчит, вздыхает, потом с горестью:

— Видно, придется...—Еще раз вздохнул, и с жаром:—Ну, что ж, работать, так работать. Ежели б мужик уверился, что больше ни переворотов, ни войны не будет, он сильно бы на работу бросился. Уж очень наскучила вся эта маята.

Солнце совсем низко. Вновь открылись поля. На камне пастух, дудит в берестяной рог. Коровы и овцы струдились, ожидают взмаха кнута и окрика. Пахнет молоком.

В поле зрения сразу три деревни. Средняя—это Озерки.

Озерки—зрелище печальное. Разрушение, словно после боя. Здесь, действительно, были продолжительные бои, но главная причина опустошения—это уход хозяев на хутора. Вот одноэтажный кирпичный домик. Нам навстречу черный пес. Двусмысленно крутит хвостом, но уши поджаты и предательски-лукавые глаза. Мы шли гуськом. Трех передних пропустил, слепка оскалив зубы, а на меня бросился с лаем и рванул за сапог. Я лихо огрел его котомкой. Из котомки потекло молоко, разбил бутылку. Вот чертов пес!

Обратились к молодой:

— Эй, красавица! Как пройти в училище?

Она сначала осведомилась, чем мы торгуем, нет ли сахарину, или пудры с румянами, или мыла, может быть, ленточки, потом разочарованно:—Ах, вот вы кто,—и пояснила, куда идти.

— Кланяйтесь Марье Михайловне, учительнице-то. Мол, Даша кланяется. Ох, и хорошая женщина. И ребятишки, и мы все без ума ее любим... Вишь ты, бросать нашу школу-то собирается. Отговорите вы ее, ради Бога.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

*Две дамы.—У кого что болит...—Туманы.—Собрание.—Отец Степан и братья Гусаковы.—Притча о талантах. «Не человеки мы».—«Обаранившийся лев».—У отца Степана.*

Школа стоит на пригорке, возле самой деревни. Это одноэтажный поместительный деревянный дом с мезонином. Сзади—деревня, налево—нивы, направо—лесок. Перед домом, по зеленой луговине—сад: тощие маленькие яблони, смородина, цветы. Пожилая женщина, не крестьянка, окатывает деревья.

— Вам, господа, кого?

А с террасы голос:

— А! Александр Кузьмич! Вот не ожидала.

На террасе высокая молодая дама. Красивое лицо ее по-деревенски смугло и румяно. Это Марья Михайловна.

Кузьмич еще в дороге рассказал ее биографию. Она была сельской учительницей, кажется, в Тамбовской губернии. В нее влюбился помещик, чело-



век высокого положения, очень богатый, начинавший делать карьеру при дворе. Бедная девушка становится богатой барыней. В дни революции муж гибнет, имение с великолепными палатами, парком, прудами, оранжереями переходит в собственность Республики, и знатная барыня, баронесса такая-то, вновь становится скромной Марьей Михайловной, безвестной учительницей школы первой ступени, с тою только разницей, что теперь у нее, кроме вдовства, пара ребят, девочка и мальчик.

Идем в ее половину. Поразительная чистота и милый, простой уют. На стене детской рукой начерченные карты звездного неба. Это ее сын, десятилетний Стива, увлекается теперь астрономией. Он может нарисовать с закрытыми глазами все созвездия, но не умеет отыскать их в небе, они такие там не похожие; он часами рассматривает с вышки в бинокль ночное небо и уверяет всех, что открыл новую туманность.

А вот и он сам, астроном и мечтатель, быстрый, черноглазый Стива. Мы с ним крепко познакомились, гуляли вместе, говорили по душам. Ему ничего не жаль в прошлом, маме—жаль, мама частенько плачет, он же верит в будущее, он делается ученым, будет летать по воздуху, и, может быть, заберется вон на ту звезду.

— Я очень хорошо изучил воздухоплавание,—с гордостью говорит он.— Я вам покажу чертежи. Почти сделал модель, да сторожиха по ошибке разогрела печь. Такая досада!

Его шестилетняя сестренка Ниночка тихая и ласковая, как котенок.

Сторожиха вносит самовар. Это бывшая прислуга бывшей баронессы, она не пожелала покинуть Марию Михайловну. И вот обе делят участь.

Мебели мало. Кузьмич усаживается на каком-то ящичке и не знает, куда девать ноги.

— Чей это дом?

— А той старушки, которая копается в саду. Она тоже учительствует здесь, и мы живем коммуной.

Легкая на помине—входит Софья Петровна. Знакомимся. Седая, среднего роста старуха.

Завязывается общий разговор. Лицо Софьи Петровны все время подергается, словно она гримасничает,—больно и неприятно смотреть.

У них нет сахара. Кузьмич достает из торбы перемешанный с хлебными крошками сахар. Глаза ребятенок загорелись. Ниночка делает губки бантиком и прижимается к маме.

— Ужасно трудно жить,—говорит та.— Сами-то туда-сюда, а вот жаль детей.

Софья Петровна, удерживая гримасу, смиренно говорит:

— Надо терпеть.

— Особенно тоскливо зимой,—жалуется Марья Михайловна.—Как закрутит на целую неделю метель. По ночам волки воют. Да и днем-то неохота выходить. А в школе холод, тьма. Если б хоть лампочка была какая, а то вот с этим ночником сидим. Читать невозможно, так и бьемся впотьмах. Тоска.



Как вспомнишь про Питер, про прежнюю жизнь, ужасное отчаянье охватит. Все, все отняла у меня революция, и если б не дети...

— Вы можете огромную пользу оказать деревне,—перебивает агроном.—Если уйдете в дело с головой, в этом найдете удовлетворенье и смысл жизни.

— Не могу.

— Почему?

— Я не люблю ни крестьян, ни их детей. Когда-то любила, теперь не могу. Хочу принудить себя к этому, но душа вся целиком отворачивается от них.

— А между тем вас крестьяне любят,—замечаю я.

Марья Михайловна улыбается, и улыбка ее горька.

— Так ведь я стараюсь, я все делаю, что в моих силах, но делаю без любви. Я отношусь к своим врагам честно, но любить врагов мог только Христос.

Она откидывает темные волосы и горестно прижимает к груди Ниночку.

— Мы отщепенцы, мы все на подозрении,—брюжит старуха, и седая голова ее трясется.—Подозревайте, но не давайте подыхать с голоду! Вот Фадеев, учитель—ходит по миру. Неделю собирает, да неделю учит. А Петров, многосемейный учитель, тот вынужден был самогонкой торговать. На что это похоже!

— А когда мы, приезжие учителя, заговорили на с'езде о забастовке, потому что ни пайка, ни жалованья,—говорит Марья Михайловна, — тогда местные учителя испугались—вдруг в рабоче-крестьянской Республике и забастовка!—На нас посыпались доносы, что мы белогвардейцы. Ложь!—вскрикивает она.—Никогда мы белогвардейцами не были и не будем! Мы ведем дело лучше их. А им хорошо не бастовать. Они местные люди, зажиточные крестьяне, своя земля, хозяйство. Бедняк-мужик, конечно, не вывел бы своего сына в учителя.

— Марья Михайловна,—сказал агроном,—я завтра хочу собрать здесь местных крестьян и организовать сельско-хозяйственное товарищество. Кто здесь из крестьян наиболее передовой, крепкий, энергичный?

— Да без Петра Гусакова не обойтись,—враз ответили обе учительницы.

— Я сейчас схожу за ним, он рядом,—добавила Марья Михайловна и поднялась.—Это бывший торговец, его тоже разгромили, едва не расстреляли, но теперь он с властями хорош. Человек-деляга.

Через полчаса явился Гусаков. Среднего роста, в пиджаке и высоких сапогах, коротко стриженная бородка и большие рыжеватые усы. Картуз надет глубоко, из-под блестящего козырька глядят умные, пронырливые глаза. Он похож на прасола уездного городишки. Говорит уверенно и держит себя с достоинством.

Да, это дело хорошее, общественное, он понимает и сочувствует, он подберет семь человек учредителей, как полагается по уставу, и прежде всего, конечно, местного священника, отца Степана, он сейчас же их всех опо-



вестит, чтоб завтра утром были здесь, и сегодня же направится в волисполком получить на открытие собрания мандат.

— А отца Степана обязательно тащите,—сказал агроном.—Мне очень нахваливал его председатель волисполкома Тараканов: это, говорит, наш поп, самый замечательный, его утвердим в правление товарищества беспрекословно. Наш поп, красный. Вот попа Кузьму погодим, его лучше, говорит, и не ворошите, к старине, кутья, тянет.

— Почему ваша деревня называется «Озерки»?—спросил я Марью Михайловну.

— А вот пойдёмте.

Мы пошли за нею через классные комнаты, набитые партами, пустыми шкафами и поднялись на вышку.

Перед нами, в полуверсте от школы, тихо лежало огромное озеро. Снизу не видать его. Оно оковало себя остропиким кольцом лесов и не любит человека. Еще недавно утонули двое, застигнутые непогодью. И каждый год оно глотает людей. В небе бледные звезды и месяц. Серебристо-голубая дорожка от берега к берегу перехвачена посредине черной таинственной тенью острова. На острове в старину стоял монастырь. Его история присутствующим неизвестна. От обители не осталось никаких следов, только две или три иконы хранятся в церкви отца Степана. Говорят, будто бы в пасхальную ночь благочестивые старухи слышат с озера колокольный звон.

Тишина. Крякают в камышах дикие утки. На острове горит костер, и по голубоватоблёклому фону лунной ранней ночи сизым кивером загибается к нам дым. На крайках отдельными ключьями рождаются туманы. Луна плещет сверху голубым, туманы растекаются, и вот встает большой туман. И озеро призрачно, и остров, как призрак; только бельмастый глаз костра всё еще бросает свои вихри навстречу туманной мгле. Но и он ослабевает, прищурился, мигнул, потух. Кругом бело.

\* \* \*

Спали мы на сеновале, в душистом сене. Ночью бегала мышь по мне. Кузьмич проснулся рано. Вот он второй раз взбирается по сколоченной из палок лесенке и трясет меня за плечо:

— Пора! Крестьяне подходят. Скоро откроем собрание.

На террасе, действительно, с десятков людей. Стол, бумага, чернильница, несколько книжек с уставом.

Петр Гусаков, по праздничному одетый, возбужденно разговаривает с каким-то стариком. На полу, в сторонке, дымит трубкой брат Гусакова. Он одет очень бедно, в лаптях. Был богатым торговцем, делал большие дела, а во время гражданской войны ушел вместе с белыми, нагрузив товарами и имуществом семь возов. И всего этого, конечно, лишился, вернулся гол, как сокол, приходится начинать трудовую жизнь.

— Вон батя идет.

Ловко перемахнув через изгородь, подходит к нам в белой холщевой



рясе отец Степан. Веселое молодое лицо с черной бородкой, соломенная шляпа тарелочкой сдвинута на затылок. Быстро здоровается со всеми за руку и садится на перила.

Агроном открывает беседу. Половина стояли за открытие товарищества, половина—против.

— Как же так, граждане,—говорит Петр Гусаков, пошевеливая правой рукой, и бросая взгляды на Марию Михайловну.—Необходимо организовать. Что же мы за никудышные такие.

— Ничего не выйдет!—с каким-то отчаянием выкрикнул его брат.—Какой у нас народ.

— Выйдет!—настаивал Петр Гусаков.—Как же кооператив работал у нас очень хорошо. Я ж сам заведывал.

— Дак-то раньше!—кричит на него старик.—Совсем другая цена была раньше человеку-то. А теперича вся жизнь—плевок.

— Да ведь плевать-то можно,—говорит молодой крестьянин, сплевывая на пол.—Да на что плевать-то? На себя же и приходится. Плевать всякий дурак умеет. А ты вот дело сделай.

— Правительство даст вашему товариществу в кредит сельско-хозяйственные орудия,—закидывает приманку агроном, поглядывая на Марию Михайловну.—Между прочим, цель товарищества—улучшать породу скота. Я уже сговорился с заведующим совхозами. Вы приводите в совхоз какого угодно бросового бычишку, а взамен получаете молодого племенного быка.

— Племенного? Вот это дело,—говорит кто-то. Еще человек пять подошли. Один в фартуке, весь покрыт мукой и пылью, только что с пашни, сѣял.

— В кредит ежели жнейки—тоже хорошо.

— Ничего не выйдет,—упрямится брат Гусакова.

— А самая главная цель товарищества,—говорит агроном, улучшать свое хозяйство, быть примером для других. Наша Россия чорт знает как отстала от заграницы.—И подробно рассказывает, как ведет свое хозяйство западный крестьянин, и как ведется оно у нас. Параллели яркие и убедительны. Слушатели—одни вздыхают и печально потряхивают головами, другие недоверчиво ухмыляются, или кричат:

— То немцы! У них в башке мозг густой. Им все дадено. А нам что?

— Мы теперь должны держать экзамен перед Европой,—возвышает голос агроном.—Должны напрячь все силы, показать, что наш народ может и умеет работать. Если мы провалимся, придет более сильная нация и сотрет нас с лица земли. Нельзя занимать землю тысячу лет, и ничего на ней не создать. Ведь теперь двадцатый век, люди летают по воздуху, а мы все еще сидим дураками и по старинке ковыряем землю. И помните, товарищи, что вас ждет жестокий суд истории. Вас осудят и дети ваши, и все человечество, как неспособных к труду, нерадивых лодырей! От вас потребуют строгий отчет. Вас тянут на хорошее, а вы упираетесь, вам...

— Детки!—вдруг крикнул отец Степан и порывисто соскочил с перил.—Вспомните притчу о талантах. Один человек призвал слуг своих, отдал им



свое именье: одному дал пять талантов, другому два, третьему один, каждому по силе его, и уехал. Получивший пять талантов пустил их в дело, и приобрел другие пять талантов; также и получивший два таланта приобрел другие два. А кому дал один талант, тот закопал его в землю. По долгом времени вернулся хозяин и требует у них отчета, точь в точь, как сказал гражданин агроном. И подошли получившие пять и два таланта и сказали: «Хозяин, вот мы на твое серебро еще приобрели столько же». Хозяин сказал им: «хорошо, добрые и верные люди. Над малым вы были верны, над многим поставлю вас». А взявший один талант сказал: «знал я, хозяин, что ты человек суровый, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, закопал талант в землю: вот тебе твое». Хозяин же сказал ему в ответ: «Ленивый и лукавый ты человек! Ты должен был пустить серебро мое в торг, и я получил бы мое серебро с прибылью. Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо радивому везде дано будет и преизбудет, от ленивого же отыметя и то, что думает иметь». Поняли?—Черные глаза отца Степана горели, он отер потный лоб рукавом рясы.—Что значит хозяин? Это жизнь, или, если хотите, Бог. Вот хозяин роздал всем таланты: датскому мужику пять, немцу два, а нам, русским мужикам, один достался. Мы, что ж, в землю его? Ага? Нет, врешь! А суд-то хозяина жизни, суд потомства, суд истории, как сказал товарищ агроном? Давайте-ка и мы не зарывать свой талант, детки, а примемся за работу дружно, враз, по новому, по науке. Тогда нам еще дано будет и приумножится, а если спать будем, да глупые речи говорить, и последнее отнимется. Англичанин на нас попреет, братцы, немец. А у нас хлеба нет, армию нечем кормить, ничего не умеем. Шапками закидаем? Ха-ха! Стара песня. Молебнами? Нет, брат, врешь, Бога не обманешь. Бог, брат, труды любит. Ему, брат, настоящие труды подай, а свечки ставить—это для старух.

Отец Степан говорил резко и отчетливо, рубил воздух ладонями и тоже нет-нет, да и взглянет на Марию Михайловну. Она стояла в открытых, увитых диким хмелем дверях, как картина в раме.

Когда батюшка кончил, сел на свое место и закурил вертунок, народ молчал.

— Вам, батюшка, хорошо говорить,—первым раздался голос брата Гусакова.—Талант, талант. А ежели и таланту-то никакого нет?.. Нам взяться-то не с чего, совсем ослабили мы от войны, да от неурядицы. И на людей-то непохожи.

— Вот-вот,—подхватил старик.—Мы, как бараны, смиренные. Я уж не про товарищество наше говорю, а так, про мужика. Сила в грудях заслабла.

— Веры, что ли, в себя нет, отец?—спросил священник, выпуская из вздрагивающих ноздрей клубы дыма.

— Да, да. То есть прямо, не человеки мы.

Тогда поднялся Кузьмич.

— А надо в себя верить,—тяжело передохнув, сказал он.—Надо всегда помнить, что ты человек, ты высшее существо, ты богоподобен. А если не будешь верить в свои силы, действительно обратишься в барана. Вот расскажу вам одну индийскую сказочку. Хотите, нет?



— Хотим, хотим! Как сказку не послушать.

Агроном зашагал взад-вперед и начал:

— Однажды пастухи убили львицу, а львенка взяли живьем и пустили в стадо овец. Львенок рос, и все овечьи повадки ему передались: овцы в сторуно бросаются, и он с ними; передовой баран вперед идет, и он идет за ним с овцами. И так он вырос в большого льва, а между тем, был, как овца, труслив и жалок. Однажды на стадо напал старый лев. Молодой лев бежал вместе с овцами, поджав уши, весь об'ятый страхом. Старик настиг его, схватил за гриву и сказал: «Первый раз вижу, чтоб сильный, молодой лев убегал, как овца, от другого льва. Зачем ты бежишь?»—«Я боюсь, я овца». Тогда старый лев подтащил молодого к озерине и сказал: «Глядись в воду». Тот посмотрел.—«Теперь гляди на меня. Видишь, ты лев, а не овца!» Всмотрелся в него молодой лев, зарычал грозно на всю пустыню.—«Да, я лев!!»—ударил свирепо хвостом в бока, да как бросится на старого льва, в момент опрокинул его на спину. Вот какая сказка. Поняли смысл? Так и вы, привыкли считать себя баранами, да овцами, а на самом деле вы настоящие сильные львы и тигры!

— Ха-ха, вот так сказка!—заплодировал отец Степан.—Обязательно в воскресенье в проповеди эту сказку расскажу.

— Вот так сказка,—засияли улыбками и крестьяне, и бодро зашевелились.

— Эта сказка дорогого стоит,—насмелился подняться и брат Гусакова.—Прямо цены нет сказке.—Он ударил лаптями в пол.—Ребята, соглашайся все! Иди к столу, подписывайся! Дед Захар, иди, чего мнѣшься!

— Я что ж, я подпишу, крестик поставлю по безграмотству.

Народ двинулся к столу.

— Позвольте, позвольте, граждане,—остановил агроном.—Значит, все согласны организовать товарищество?

— Все, все.

— Тогда начнем с выборов, потом оформим, и я возьму документы для регистрации в город.

И началась обычная процедура. Кончили поздно, к обеду. Хотя день был ведряный, надо бы работать в поле, но никто не жалел. Председатель товарищества тотчас же отправился в волисполком представить на утверждение список выбранных должностных лиц. Оставшиеся, совместно с агрономом и батюшкой, долго обсуждали план предстоящей деятельности, постановили открыть прокатный пункт, опытное поле, выписать сельско-хозяйственных книг, газет, составили список, какие орудия и какие товары должны быть на складе—надо сахарку, селедок, особливо же махорочки — настоящую махорку с руками оторвут, ну, там кожи для подметок, еще чего?—уксусу, да не худо бы горчички, а бабам да ребятам леденцов, пряников, а стряпают ли пряники-то? чорт с ним, с пряником, лучше—ситцу нет ли? И потянулись к столу руки: миллион вступительный, два миллиона членский. Казначей, весь



облившийся потом, считал деньги и скрипел пером, рыжая борода его старательно двигалась за каждой буквой, как на поводе.

Батюшка пригласил нас на вечер к себе.

\* \* \*

Тропа идет перелеском и луговинной, прямо к саду на горе. Сквозь листву яблонь виднеется приземистый церковный дом. Отец Степан торопится садом навстречу нам, кричит:

— Сюда, сюда, путешественники!—и ретиво разбирает звено изгороди, встряхивая черными, подрубленными волосами.—Пожалуйте, так ближе.

Идем садом.

— Вот обратите внимание,—останавливается он возле трех берез.— Белые прибы. Сам сею.

Из травы торчат десятка два белых, разных размеров.

— Вы нарочно натыкали,—смеется Марья Михайловна.

— Попробуйте, сорвите.

Я нагибаюсь, пробую, гриб сидит прочно.

Сад невелик, но густ и зелен. Меж яблонями и кустами ягод стоят десятка два ульев, окрашенных в голубое. Батюшка становится на колени, приподнимает козырек улья, и показывает нам, через вставленное стекло, жизнь пчел:

— Вот полюбуйтесь: большие—это трутни, а маленькие—работницы. Видите, они выгоняют трутней вон. Сначала отгоняют их от корма, и когда те с голодухи ослабнут—убивают их, а то так-то не справиться. Вот она комуна-то где.

Усаживаемся на веранде за большим, сколоченным из досок столом.

— Двадцать человек питались за этим столиком,—говорит хозяин.— Сначала белые, а потом красные. Делов тут было—аяяй! Ежели все рассказать—целая книга будет.

И он начинает свой длинный, интересный и поучительный рассказ.

— Когда я приехал сюда священствовать, еще до революции, сразу же из поповской земли отдал пятнадцать десятин сторожу и псаломщику, у них земли было мало, а себе оставил только пять десятин, с меня довольно, ежели правильно хозяйство вести. Прихожане сначала протестовали: вся земля, мол, гвоя, владей. Я ответил, что или будет по моему, или я уеду. Мне очень псаломщик нравился: смелый такой, работающий. Да мы бы с ним вдвоем чорта своротили, мы бы из земли чудес наделали. Каждую службу панихиду по нем служу, не могу забыть.

— Умер?—спросила Марья Михайловна.

— Белые, подлецы, убили. Передовой ихний отряд. Вон, возле мельницы, отсюда видно. Почти на моих глазах.—Батюшка задумался и сдвинул брови.—



Потом красные появились в окрестности. Мужики стали говорить мне, что красные меня убьют за псаломщика, они думают, что это я предал его. А его оговорил латыш местный: еще раньше чего-то повздорили они,—очень хороший случай отомстить. Вот под таким настроением я и ждал красных. Что, думаю, делать? Бежать с белыми, как многие делали, или остаться и принять смерть? Решил—останусь, и начал всех удерживать, а то мужики было на утёк пошли. Например, прибегает ко мне Петр Гусаков: «Батюшка, благовослови с белыми бежать». Я как топну, да зыкну на него: «Домой! На месте сиди! Ни шагу!». Послушался, цел-невредим остался.

Батюшка затем рассказывает, как пришли красные, передовая разведка, самые головорезы, N-й батальон. Действительно злоумышляли разграбить его и убить, но как-то случай спас, и они в конце концов так сдружились, что жили лучше родных братьев. Красноармейцы стали говорить: «Поп или большая сволочь, или очень хороший человек», и вскоре остановились на последнем. Тогда всё круто изменилось. Солдаты, всё молодежь, крестьяне и рабочие, сами таскали воду, топили баню, стряпали, чуть ли не доили коров.

— Вот что я вам скажу: лучше этого народа и нет. И командный состав, и солдаты. А белые—шушера.

Батюшка рассказывал увлекательно, в лицах, менял голос, мимику, принимал позы, выбегал в сад или за ограду, чтоб показать, где стояли пулеметы, где белые чинили расправу.

Я не хочу загромождать эти беглые очерки рассказом священника. Сообщенные им факты и характеристики так интересны, что могут лечь в основу отдельной беллетристической работы.

Когда пили после обеда ячменный кофе, он сказал очень смущенно:

— А всё-таки грех на душе у меня. Дрянно вышло, ох, дрянно... Но я совершенно не ожидал. Пропали в кухне мои карманные часики, на полке лежали. Красноармейцы сметили, что я ищу, пристали, скажи да скажи, что пропало? Ерунда, говорю. Однако, принудили, сказал. Через полчаса приносят: Твои? Мои, мол. Слышу, в саду караул кто-то кричит: «Караул, не буду, не буду!». Оказывается, вора старший розгами порет. Тот ко мне, в ноги: «Батюшка, прости». А в это время командир верхом приехал. Я, конечно, тотчас же простил, а командир мне: «Вы, батюшка, прощаете, это ваше дело, а наша дисциплина не может простить. Это питерский хулиган с Горячего поля, он седьмой раз попадает в безобразиях разных: двух женщин изнасиловал, воровал, казенные деньги растрачивал. Его условно присудили к расстрелу. Он неисправимый. Только красную звезду марает. Ведите его! Если тебя, говорит, белая пуля не настигла, так красная найдет». Его увели, я обомлел весь, трясусь, слышу: бац-бац. Должно быть, его... Я и не расспрашивал потом. Вот какая дисциплина.

Было темновато, мы направились во-свои. Отец Степан провожал нас.



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

«Побойся Бога!» — Изобретатель. — Погост. — Хмель. — Русская старуха. — Больница. — Обвинительно-оправдательная речь Степана Степановича и его заключительное слово. — Отрадное явление. — Мы.

Что же рассказать еще? На обратном пути интересного было мало. В полях по-прежнему копошились люди, и по-прежнему, с кем ни заговори, все жаловались на большой налог. Сбить крестьян, доказать им всю необходимость налога—невозможно. Их возраженья сводились к одному: «Подождем с голоду, вот увидишь, а не увидишь, так услышишь».

Здесь пашут женщины, мужчинам не доверяют. А сеют мужчины—не доверяют женщинам.

Зашли на хутор к бестолковому человеку. Перебрался сюда восемь лет тому назад, а избенка все та же собачья конура, хотя лесу крутом сколько угодно, живет бедно, молодая жена, сухая, как доска, в рванье, сам—в лаптях. Он зимами трется в Питере—хлебопёк. Местность заболоченная—лень прокопать канавы.

— Да чем их копать? У меня и лопаты-то нету.

Направил нас не по той дороге, и мы сделали лишних пять верст.

Из 56-ти дворов деревни Марьиной, которая попалась нам на пути, нынче осенью сразу выезжают на хутора и отруба тридцать пять хозяев. Между прочим, нам рассказали такой курьез. Восемь человек наиболее энергичных хозяев этой деревни решили соединиться вместе и работать коммунальной. С этой целью они выбрали себе подходящий участок. А богатеи Петр Каблуков, пожелавший иметь самостоятельный хутор, дал взятку заведующему волостным земотделом, и тот назначил ему самый лучший участок, входящий клином в землю коммунаров.

— Разве это возможно?!—возмутились те.—Ведь ты своим хутором нашу землю пополам рассек. Чрез твои поля, что ли, нам ездить-то?—и дали земотделу взятку посolidнее, при чем поили его целую неделю самогоном. Земотдел, очухавшись от попойки, первое свое распоряжение отменил, и назначил Каблукову землю где-то в стороне.

— Побойся Бога!—взмолился тот.—Я ли тебя не ублажал!

И стал поить земотдела, пообещав ему телку годовалую:

— Только, пожалуйста, на прежнем месте оставь.

Тогда восьмеро порешили:

— Вот что, ребята.—Мы все-таки свое возьмем. Сложимся по овце, да к председателю, а нет,—так и в город. Вари, ребята, самогон! Земотдела все-таки ублажать надо.

Оригинальная тяжба эта еще в полном разгаре. Интересно, чем она кончится: околеет ли земотдел от пьянства, попадет ли он под суд, или все закончится полюбовно.



Шли настоящим дремучим лесом. Александр Третий приезжал когда-то сюда охотиться на лосей. Поздний вечер захватил нас возле бывшего приюта для калек, обращенного теперь в школу.

Про эту школу крестьяне говорили:

— Ране то школа была хоть куда, да бабы чего-то не поладили, то-есть женщины. Лидия Алексеевна и теперича живет, учительствует, а другая, жена учителя—инженер был учитель-то,—выехала с мужем. Из-за тесноты помещения скандалы были. Шум, шум, а тут Лидия Алексеевна из окошка помои вылила на инженера, будто невзначай. Бултыхнула целую лохань, да «извиняюсь» кричит. Тот от обиды в драку было полез, а эстонец, муж Лидии Алексеевны—вот увидите, вроде бардадым—вступился, с топором на инженера-то. Поорали, поорали друг на дружку, так никакой сурьезной драки и не образовалось. Все-таки инженер уехал в другое училище. Теперича маленькая школка-то через это.

Грязный двух'этажный дом. Девочка-подросток, дочь учительницы, ведет нас вверх. Большая, но изумительная по своей грязи комната. Треть комнаты: пол, столы, подоконники завалены разным металлическим хламом. Чего-чего тут нет. Не покойник ли Плюшкин все это собирал? Подымается с табуретки нам навстречу сухой, чернобородый человек, очень хмурый на вид, но с улыбочивым тенористым голосом. Это хозяин, Ян Густавович, муж учительницы, бывший слесарь Трубочного завода в Петербурге, теперь он учительствует здесь. Начинается разговор. Крестьянство у него идет плохо, городской человек. Правда, есть свиньи, коровы, а хлеб приобретает мастерством, чинит кастрюли, латки, делает печи.

Входит босая женщина с корзиной картошки и огурцов, юбка подоткнута, рукава засучены, на голове белая мягкая шапочка. Если б не шапочка, можно бы женщину принять за подлинную мужичку, так она сумела опроститься и поглубеть. Но это сама хозяйка, учительница, с высшим образованием... Муж ничего путем не может рассказать, дакает, тянет, мямлит, и когда окончательно сбивается, она нить разговора берет в свои руки. Тогда события, о которых она повествует, сразу оживают, становятся ярки и интересны. Что же их свело вместе, этих двух разных людей и выбросило из Петербурга в глушь? Борьба за существование, революционная буря? Может быть. Я знаю, как одна баронесса, когда у нее отобрали имение, сошлась, чтоб не погибнуть голодной смертью, с хutorьянином латышем, и была впоследствии из ревности им застрелена.

Лидия Алексеевна рассказывает, как безобразничали здесь белые: они поместили в школе свой штаб, выбросили на улицу все парты и кровати учеников, выгнали учителя со всем скарбом, при чем наиболее ценное разграбили. Одного учителя, заподозренного в сочувствии красным, увели с собой и, как жется, удавили. Во главе отряда свирепствовал сын местного помещика.

— Я очень был озабочен обувью,—вдруг заговорил Ян Густавович,—такие тяжелые времена были, ни подметок, ни кожи не добыть. Я и придумал вот что.

Он вытаскивает четыре пары женских и мужских ботинок, сооружен-



ных—как вы думаете, из чего?—из железа. Вот до какого средневековья могут доходить отчаявшиеся, хотя и не пьющие изобретатели. Даже изящно: все на медных заклепочках, с перекидными застежками, подметка и каблук деревянные, чтоб подметка гнулась, устроены шалниры.

— Но ведь зимой-то холодно?—любопытствую я.

— Да, холодно.

— А летом-то, поди, и босиком можно?

— Летом босиком. А вот осенью хорошо. Грязь.

— Ржавеют,—протестует дочь.

Он еще что-то такое изобретал, кажется, жернов из дерева, желает устроить ветряную мельницу, словом, его голова полна проектов.

Перед ужином и сном на сеновале мы гуляем. Густой сосняк. А вот поля, они обрабатываются небольшой коммуной, приютившейся в нижнем этаже школы. На пригорке, среди нив, стоит чистенькая, новая, аккуратно сделанная избушка. История ее такова. В конце прошлой зимы пришел молодой парень, бывший красноармеец, оправившийся от ран. Он без роду, без племени, не здешний. Выпросил себе клочек земли. Потом стал ходить по деревням, привел с собой здоровую девку и вдвоем принялись строить избу. А теперь у них полное хозяйство и хороший урожай. А начал с ничего.

\* \* \*

Следующий наш этап—погост Хмель. Там волисполком, в огромном, новом, с выбитыми рамами доме. Агроном торопится туда, чтоб организовать сельско-хозяйственное товарищество. По пути оповещает деревенских жителей и хуторян.

Десять часов утра и волисполком уже на работе. Подходят крестьяне, щелкают пишущие машинки, скрипят перья, подмахиваются, припечатываются бумажки—без бумажки в наше время никуда. Кузьмич уже открыл собрание.

Я вышел на балкон. Опять озеро, такое же многоверстное, узкое, длинное. По ту сторону, за бордюром леса, виднеется идущее плоскогорьем железнодорожное полотно. Здесь тоже были большие бои. Бронепоезд премел здесь на весь лес.

На берегу озера каменная церковь, кладбище, несколько церковных и частных домов, и замечательная старинная, XVII века, деревянная церковь, серый обомшалый купол которой выглядывает из-за кладбищенского парка.

Иду на кладбище. Здесь все мирно, элегично. Сквозь густую листву деревьев еле-еле пробиваются солнечные лучи. Елки, сосны и березы густо сгрудились возле старой церкви, вплотную приникли к ней, ревниво раскинули над куполами густые ветви, будто стараясь уберечь старуху от житейских бурь. Могилы в цветах и травах. Вдоль ограды и между могил кусты сирени. Вверху шумят грачи, внизу, под каким-то памятником, и в церковном окне жужжливые улы ос. Пахнет хвоей, глиной и веками. Могилы. Все сбегались сюда—званные и незванные, простые и из дворянских гнезд, вельможные. Вот,



справа от церкви, на обрыве, поросшие бурьяном и крапивой чугунные плиты и гранит. Секунд-майор, генерал-полковник: Екатеринин век. Вот действительный и тайный советник, и протоиерей, фрейлина их величеств. Все заросло быльем, и любящая родная рука далеке.

Слева от церкви—мертвая нива людей безвестных: белые, голубые, поседевшие кресты, свежие, полустгнившие и—прах. Вот еще не успевший завянуть венок, вот обложенная дерном могила, а на эту свежую глину, может быть, еще вчера капали слезы. Нет крапивы и бурьяна, чисто, связано с жизнью, и от жизни в покой не заросла тропа.

На кресте вкривь и вкось карандашная надпись: «Здравствуй, дорогой братец Павлушенька, вот я приехала к тебе в гости из Петрограда, а ты молчишь, я уеду, а ты во сырой земле лежать будешь. Прощай, братец, сестра твоя Парасковья Козырева». А под этой другая, каракулями: «Царство тебе небесное Павлушенька, сыночек. Горькая твоя мать Василиса Козырева». Это могила красноармейца.

Надо вообразить себе всю трагедию недавнего визита. Наверное, какая-нибудь семья фабричных тружеников. В девятнадцатом году убили единственного сына—всю их надежду и защиту, в двадцатом узнали, где убит, и в двадцать втором, может быть, продав последний самовар, поехали искать, и вот, после долгих поисков, стали у могилы.

Могилы, кресты, могилы, чугун, гранит—всё легло у подола седой обомшалаой старухи-церкви. Идут века, могилы множатся, озеро иссыкает и редеет лес, а седая старуха все стоит, как наскочивший на подводный риф корабль.

Придут из времен новые века, явится новый человек, и грачи будут петь по-соловьиному. Тогда может быть гениальная пламенная мысль взорвет в духе и материи, все капища и все престолы наших дней, чтоб поставить иные алтари.

\* \* \*

Спускаюсь к озеру. Возле берега допотопный челн. Это даже не посудинка Вольного Новгорода, это прямо-таки музейная вещь, сооружение первобытного дикаря. Мелочь, а очень показательна. Представьте себе две узкие выдолбленные колоды, в каких раньше хоронили покойников, а теперь кормят поросят. Обе эти колоды соединены вместе, носы заострены, связаны вицами, получилась карикатура на ладью. Тут же вытесанное не иначе, как каменным топором неуклюжее весло—тошно смотреть. И на таком дьяволовом суденышке какой-нибудь дед Пахом прёт в непогодь за озеро. Порядочные люди собираются лететь на Марс, а наш Микулушка... Эх!

\* \* \*

Подымаюсь. На яру, перед волисполкомом, опять могила под большим крестом. Здесь лежат растрелянные белыми четыре латыша-коммуниста, двое пожилых и два мальчика.

\* \* \*



Завершая круг путешествия, мы вновь подходим к больнице. Следует зайти. Больница занимает два дома со службами в бывшем господском имении. Перед домом, где живет медицинский персонал и помещается амбулатория, огромная круглая клумба, бывший цветник, теперь на ней колосится пшеница. Выходит навстречу доктор, в кожаной куртке. В его моложавом лице и фигуре что-то шведское, хотя он истый русак. Он прощается с бородатым крестьянином, с которым только что говорил по душам. К нему частенько обращаются: душу и тело лечит, то книжкой, то ланцетом, то добрым словом.

— Маша!—кричит он,—гости пришли.

В столовой кипит самовар. За столом молодая хозяйка и чернобородый, полуплывший с мужиковатым лицом человек. Это Степан Степаныч, местный крестьянин-интеллигент. Он ветеринар, обрабатывает свой собственный надел и несет службу.

За чаем завязывается оживленный разговор. Больше всех говорит Степан Степанович. Он говорит отчетливо, быстро, стучит по столу пальцем, весь ходит ходуном.

— Хотите знать мнение мужика о революции? Извольте. Говорит вам потомственный мужик.—Революция произвела в деревне действие дрожжей. Все зашевелилось, забродило, сдвинулось со своих мест. Мужик развился, крутозор стал шире, перед ним всплыли вопросы, которые и в голову ему не приходили, и на которые он ищет ответа. Раньше с мужиком интеллигенту почти не о чем было говорить. Теперь можно говорить с ним о многом. Обозвонился общий язык, нашлись общие темы, интересы наши соприкоснулись. Недавно был я в Питере, в одном учреждении. Зашел в кабинет заведующего: он инженер, окончивший две высших школы. А против него господин какой-то, ведут деловые разговоры. Я сел к сторонке, прислушиваюсь и про себя решаю, что тот—тоже инженер. Потом присмотрелся к другому-то.—Ба! да ведь это мужичок наш, Тихонов. Он и есть. Больше четырех лет не видались. Был он серым мужиком, во время революции сделался коммунистом, возглавлял карательный отряд, расстреливал, умирал, потом женился на учительнице, стал заведывать каким-то складом, а теперь работает в торговой организации. И совершеннейший, понимаете-ли интеллигент по виду и по разговору. «Учусь, учусь, говорит. Надо учиться, время обязывает к этому. Да и жена досталась, говорит, прямо клад». Вот вам. И этот пример не единственный.

— Крестьяне изрядно таки поругивают советскую власть. Чем это объяснить?—спросил я.

— Правильно,—сказал Степан Степанович.—Это вот почему. Среди местных исполкомов, как в городах, так и в селах, вместе с хорошими идейными людьми работает много шушеры, взяточников, пьяниц. Это раздражает мужика. Мужик говорит: «лезут в волки, а хвост телячий», и поясняет: «мысли-то у них боевые, а исполнители плохие». И мужик прав. Но это, конечно, вопрос времени: постепенно у власти встанут люди, преданные не своему брюху, а своему народу.

— А потом—налог,—сказал я.



— Вот-вот. И это главное. Дело, в сущности, вот в чем...—И Степан Степаныч задумался.—Трудно так вот сразу об'яснить. Очень это все сложно. Надо подойти издалека. Во-первых, ни мужик, ни отчасти рабочий не имели понятия, что такое революция. В девятнадцатом году с фабрик хлынул рабочий-мужик в деревню, свои животы спасать. Один из таких типов, старый знакомый, приходит ко мне. Разговорились. «Мы, говорит, совсем думали по другому. Думали, что царя скovyрнем, свою власть образуем, фабрики под себя возьмем, а все прочее останется: кондитерские, трактиры, магазины. И все будет наше, и все дарма. Пришел в кондитерскую, наелся булок да пирожных, пошел в магазин, шубу взял, штаны, тросточку, а баба, значит, шляпку, туфли, самовар никкелированный... А работать восемь часов, спрoхвалá, с накуром, лясами, потому—сами себе хозяева. Вот как полагали. А на самом-то деле, говорит, так все обернулось удивительно, что ахнешь».

— А мужик как думал?—спросил я.

— Да, примерно, тоже так, поерундовски,—сказал Степан Степаныч.—Для него революция и грабеж господских имений—синонимы. Все растащил инвентарь, скот, имущество. Племенной скот, рассадник улучшенной породы перерезал, сожрал, пропил. Чего не мог вывезти—сжег, разбил. Погибли старинные дома, библиотеки, картины. Принялся рубить лес самым варварским способом, строить избы; один крестьянин пять изб себе срубил, совершенно ему ненужных. Словом, вольная воля—живи, начальства нету, а ежели и покажется где—нож в горло! Однако, все стало входить в берега, появились карательные отряды, стали понемножку отбирать награбленное, лес отошел новому хозяину—казне, стали отбирать лес, избы, накладывая взыскания за незаконную порубку. «Что, опять закон? Чорт его дери, этот закон! Ведь революция!» И мужик зачесал в затылке. А потом заградительные отряды, все взято на учет, запрещен ввоз и вывоз. Местные заградилки иногда выкидывали удивительные фокусы. В Костромской губернии, например, недалеко от соляноварниц, мужики дошли от отсутствия соли. Некоторые поехали на соляные промыслы, чтоб как-нибудь, крадучись, хоть соленой водички привезти. Их встречали отряды и—моли не моли—опрокидывали чаны с рассолом прямо на зeмь: запрещено! А потом разверстка, продналог, расслоение деревни на бедноту и зажиточных. И все время бои—гражданская война, белые, красные, зеленые. Настала неразбериха. Бегают по деревне, спрашивают друг друга: «Васька, ты кто такой, красный?»—«Красный. А ты?»—«Я, должно, белый, лёс его ведаёт». Третий кричит: «А кто же я-то, братцы, зеленый, что ли?» Красный Степка воюет против своего родного брата белого Ваньки. Потом оба попадают в плен, опять воюют, но уж Степка белый, а Ванька красный. А наборы все продолжались, война шла, отбирали лошадей, скот, крестьян выгоняли рыть окопы, отбывать гужевою повинность, проводить какими-нибудь гиблыми местами в тыл врагу отряды, белых ли, красных ли, все равно. Все время в кутерьме, в лихорадочной работе, в опасности, у смерти в зубах. Своя же работа стояла, а ежели и снимет что с полосы—зарывай в землю, отберут. А потом—вытаскивай иконы, долой



попов, не надо ребят молитвам обучать, и еще—отделение церкви от государства, какое такое отделение? И сейчас же вслух: отделять от государства—значит все церкви взрывать на воздух. Тут уж вся баба оцетинилась, как еж: «Вот до чего дошло! Что ж вы, мужики, смотрите-то? Бей их, анафемов!» А разжигающая страсти агитация, разные поганенькие шептуны работали всюю. Одно к одному, одно к одному: на сердце и в мозгу у мужика густая копоть. Оглянется назад—разорение и кровь, посмотрит вперед—конца не видно. И год, и другой, и третий, и четвертый. И в конце концов, мужик догадался, понял, ущупал своими боками, что хотя он, мужик, многочислен, огромен, силен, но есть сила покрепче его, и эта сила—город. Так он жил, злобствуя на город, до последнего времени, и, пожалуй, только в этом году стал понимать всю махинацию творящегося, стал помаленьку разбираться в том, что давно прошло. Я, конечно, говорю про мужика среднего уровня, про мужика, так сказать, обывателя. Теперь он видит, что власть укрепилась, перестал оглядываться по сторонам и знает, что исправить дело, улучшить свое благосостояние он может лишь собственным своим неусыпным трудом. И мужик к этому приступает всерьез: массами идет на хутора и отруба—думает, что ему так будет лучше—переходит на травосеяние, на многополье, стремится улучшить породу скота, словом, ломает и перестраивает сверху донизу свое хозяйство. Это опять—таки под благотворным влиянием революции: мужик раньше боялся всяких новшеств, как огня. И вот, в такое-то время, когда мужик вправе рассчитывать на всяческие послабления и поддержку от правительства: ведь без передышку ему кричат в уши, что правительство теперь наше, рабоче-крестьянское—в это время на мужика налагают подчас непосильные налоги.

— Да!—вставил доктор,—например, из соседней деревни, где считается двадцать один двор, утнали за недоимки пятнадцать дойных коров. Крестьяне чуть не плачут.

— Ну, ясное дело!—вскричал ветеринар.—Вот мы постепенно и подо-брались к заданному вами вопросу.—Степан Степанович ведь как-то вздох-матился, был красен от возбуждения, смотрел на меня сквозь очки при-стально и сурово.—Мужика очень трудно убедить, что раз заграница отка-зала нам в золоте, а хозяйство в стране все-таки подымать надо, иначе—гибель России,—то единственный верный ресурс, единственная прочная экономическая база это—хлеб. Говорю им, что ни одно государство без на-логовой системы не существует, а если у нас сейчас усиленный налог, то пра-вительство решается на такую меру, скрепя сердце, по великой нужде, что правительство просто берет в долг у мужика, нужда пройдет, дела наладятся, и деревня получит свое сторицей.

— Однако, пойдемте,—сказал доктор.— Нас, кажется, зовут. Что, приго-товили?

— Готово, пожалуйста,—ответил служитель.

Шли в больницу великолепным парком. Густая липовая аллея. Под много-вековым деревом огромный, вросший в землю камень, в нем выдолблено место



для сиденья, а сбоку две цилиндрических выемки для бутылки и стакана. Отличный памятник навсегда, закрывшейся странице прошлого.

\* \* \*

Очень чистая комната в больнице. Человек двадцать больных, мужчин и женщин—крестьян, в опрятных больничных халатах. Слушают мое чтение очень внимательно, просят еще что-нибудь прочесть. Жена доктора продекламировала два Некрасовских стихотворения, доктор сыграл на скрипке.

— Я частенько устраиваю такие развлечения для больных,—сказал он.— Иногда приглашаю их к себе, и Маша играет на рояли. Надо же как-нибудь скрашивать жизнь.

— Жаль, выписался недавно один больной,—говорит доктор, когда мы направились к выходу.—Пожилый крестьянин, жил с двумя сыновьями и с женой. Пьянствовал и парней приучил пить. Жену ругал, бил, истязал, и сыновья помогали. Звериная такая натура, понимаете ли. Так продолжалось больше года. Жена от побоев в старуху превратилась, оглохла. Но вот пришел сын-красноармеец и сразу вступился за мать. «Вот что, отец, ты лучше оставь! Теперь не прежние права. А то плохо будет. Упреждаю!» Целый месяц красноармеец с батюшкой воевал, и кончилось тем, что однажды в ссоре сгреб ружье, да и царапнул в старика. Я думал, что умрет, нет, ожил. Руку только пришлось отнять. Пока лежал, говорил: «Поправлюсь, и его убью, и старуху убью». Однако, все обошлось хорошо. Фактик этот возымел, понимаете ли, свое действие. Наш мужик вообще любит побить свою жену. А теперь мужики вдруг почуяли, что пришла какая-то новая сила, их дети, красноармейцы, и эта сила вступает за слабого, да не шутя, а—прямо за ружье. Впечатленье вышло замечательное, и многие мужички призадумались.

Степан Степанович пошел нас провожать. Миновали мельницу, выбрались на придорок, и вновь знакомые поля и перелески. Садилось солнце, все было обвеяно благостным закатным огнем, и рыжая лошаденка среди сжатых нив, как золотая.

— Да, сдвиг в деревне все-таки большой, и психологический и материальный,—как бы подводя итоги, философствует Степан Степанович.—Хотя многим кажется, что в духовном смысле революция мужика ничуть не подняла: и пьянство, и воровство—все по старому. А взаимной вражды даже как будто больше стало: зависть, недоверие, ненависть, доносы, месть. Смелый опыт власти в этом направлении, возможно, что и был правильным,—ведь грандиозные намерения только и можно осуществлять соборно, когда всяк верит в торжество идеи, и всяк работает с энтузиазмом,—а мы что делали? Вот то-то и есть. Но факт все-таки остался фактом: старые моральные воззрения мужика,—да, я думаю, и всех классов населения,—покачнулись, остались за флагом, а до новых мы еще не доросли. И легковерный ум склонен даже театрально всплеснуть руками и воскликнуть: «Мы подошли к пропасти, мы гибнем». Чорта с два! А я от себя скажу: не к пропасти подошли мы, а к горе. Работай, полезай вверх! Как никогда, а может быть, как нигде в мире, русский народ получил полную возможность быть передовым народом.



Дело теперь за нами самими. Последние пять лет, правда, тягостны, но все-таки мы подошли к горе.

Дорога действительно вползала круто в гору. Мы распрощались с словоохотливым ветеринаром и, хотя усталые, запыленные, с разбитыми ногами, бодро двинулись вперед.

\* \* \*

В заключение должен с особой радостью отметить светлое явление. Это созданная в революционное время . . . ская школа первой и второй ступени. Школы, учительский персонал и общежития учеников разместились в четырех домах. Начну с цифр. В прошлом году училось 250 крестьянских детей обоего пола, окончило 2-ю ступень 25 человек, из них 18 определилось в высшие учебные заведения Петербурга. Текущий учебный год готовит к выпуску 35 человек. Приезжие дети размещаются частью в общежитии, частью в окрестных деревнях. Некоторые приехали за 50 верст. Тяга к образованию большая, особенно среди зажиточных крестьян. Их главным образом привлекает высокий тип школы, где «учат по настоящему». Это обстоятельство—«учат по настоящему»—мне хочется особо подчеркнуть. Учителей 22 человека, с высшим и средним образованием, некоторые окончили учительские семинарии. Все они влегли в работу дружно, работают помногу. Заведующий, из местных образованных крестьян, очень опытный педагог, сведущ, хлопотлив и делен. Агроном преподает литературу и ботанику, два горных инженера—математику, две женщины—музыку, немецкий и французский языки. Я хорошо знаком с постановкой дела в этой школе: дважды посещал ее. Интересно отметить любовь крестьянских детей к музыке. В прошлом году училось игре на рояли 30 человек, большинство, конечно, девушек. Некоторые имеют незаурядные способности, легко усваивают технику, бегло разбирают ноты и могут прилично сыграть несложные вещи Шумана, Шопена. Один огромный девятнадцатилетний верзила обладает так называемым абсолютным слухом, он мгновенно схватывает вещи на память, но лапищи его, привыкшие корчевать пни, путаются на тесном пространстве клавишей, и от усилия поставить пальцы, куда нужно, но он весь обливается потом. А то прибежит карапуз-мальчонка, сбросит овчинный рваный полушубок, разматывает шарф и начинает грязными, давно не видавшими мыла руками, с азартом отбрыкивать экзерсисы.

Кстати замечу, что в тех же местах живет старуха барыня, бывшая знатная помещица, и великолепная музыкантша. Около 70 крестьянских детей обучается у нее музыке за хлеб и картошку.

Учащиеся высших классов . . . ской школы издавали под руководством учителя свой журнал. Обнаружился талантливый юноша, Александр Алексеев, он написал недурную двухактную вещицу, имевшую на местной сцене огромный успех. Спектакли и литературно-музыкальные вечера устраиваются довольно часто, участвуют учителя и учительницы. Между прочим, нынче ставилась «Сестра Беатриса» и—как ни удивительно—пьеса чрезвычайно



чайно понравилась, и возбудила среди крестьян оживленные разговоры и прения.

В этот свой приезд я попал на заседание хозяйственного совета. Было человек 12 учителей, несколько состоятельных крестьян и шеф школы, заведующий совхозами, деятельный человек из обрусевших латышей. Сметные вопросы решались быстро и толково. Школа будет обеспечена на зиму дровами. Заготовка и подвозка местными крестьянами. Часть расходов берет на себя казна.

— А вот ремонт,—докладывает председатель и читает сметные цифры с умопомрачительным количеством нулей.

— Ерунда,—возражает шеф, почесывая широкий подбородок.—Хозяйственники,—обращается он к крестьянам.—Прикиньте-ка на глаз, сколько надо рабочих рук для починки крыши и перестилки полов? Двадцать? На неделю? Хорошо. Секретарь, пиши. Еще какие работы. Побелка? Можно отложить. Вычеркните. Водопровод? Отлично. Завтра же пришло двух монтажников и рабочих с материалами. Вот вам и нули. Город все равно не ассигнует. Надо своими средствами. Еще какие на очереди работы?

В прежние тяжелые годы от правительства выдавались усиленные пайки всему учительскому персоналу. Теперь на пайке, и довольно скудном, оставлено лишь несколько учителей школы второй ступени. Да и то из ничтожного учительского жалованья удерживается почти рыночная стоимость этого пайка. Недавно несколько учителей... ской школы ушли в город из боязни обречь себя на нищенское существование. Я слышал, что и из других, известных мне здесь, школ учителя разбегаются по тем же причинам. Вообще эти незаметные, но самые необходимые нам труженики — несчастнейшие пасынки Республики. Зато вот вам и неоспоримый факт: специальные учебные заведения, где фабрикуются педагоги, пустуют. Да и на самом деле, кому же охота много лет учиться только для того, чтоб голодать... Конечно, и Волховстрой, и Стросвирь, создающие искусственные водопады и утилизирующие их силу—вещь первостепенной важности, и Республика поступает правильно, не жалея на них денег. Так неужели же мы остановимся перед созданием других величественных турбин, чтоб принять всю мощь естественного водопада живых интеллектуальных сил пробуждающейся деревни? Конечно, нет. Довольно нам быть посмешищем кичливой Европы, довольно быть без штанов, но в шляпе! Мы бодрь, мы молоды, перед нами широкий путь!

Октябрь 1922 г.